



*Эта книга повествует о бывшем берлинском цементнике и транспортном рабочем Франце Биберкопфе. Его выпустили из тюрьмы, где он сидел за старые дела, и вот он снова в Берлине и хочет стать порядочным.*

*Вначале это ему удается. Но затем, хотя материально ему живется сносно, он оказывается вовлеченным в упорную борьбу с чем-то, что приходит извне, что непостижимо и похоже на судьбу.*

*Трижды обрушивается оно на нашего героя<sup>1</sup> и ломает его жизненный план. Оно наступает на него мошенничеством и обманом. Но тут он еще справляется, он держится на ногах.*

*Тогда оно наваливается на него и бьет подлостью. Тут ему уже трудно подняться, силы его уже на исходе.*

*Наконец, оно ударяет в него миной с неслыханной, чудовищной жестокостью.*

*Теперь наш стойко державшийся до последней минуты герой окончательно сломлен. Он считает игру проигранной и не знает, как быть дальше, его песенка, по-видимому, спета.*

*Он уже готов радикально покончить с этим миром, когда у него способом, о котором я пока умолчу, снимают с глаз пелену. Ему становится совершенно ясно, из-за чего все так вышло. А именно — из-за него самого, да это же сразу видно, из-за его жизненного плана, который был ни на что не похож, и вот теперь вдруг выглядит совсем иным, не простым и почти понятным, а высокомерным и наивным, дерзким, но вместе с тем малодушным и бессильным.*

*Страшная штука, какой была его жизнь, приобретает смысл. Франц Биберкопф подвергся принудительному лечению.*

*В конце мы видим его снова на Александрплац, сильно изменившимся, покалеченным, но зато уж выправленным.*

*Посмотреть и послушать все это стоит многим, которые, подобно Францу Биберкопфу, пребывают в человеческой шкуре и которым, как и этому Биберкопфу Францу, случается порой требовать от жизни нечто большее, чем только сытое существование<sup>2</sup>.*

# КНИГА ПЕРВАЯ<sup>1</sup>

В начале ее Франц Биберкопф покидает тюрьму в Тегеле<sup>2</sup>, куда привела его прежняя беспутная жизнь. Ему трудно снова устроиться в Берлине, но в конце концов это ему удастся, чему он немало рад, и он дает себе клятву быть порядочным человеком.

## На 41-м номере в город<sup>3</sup>

Он стоял за воротами тюрьмы в Тегеле<sup>4</sup>, на свободе. Вчера еще он копал картошку вон там на огороде<sup>5</sup>, вместе с другими, в арестантском платье, а теперь он в желтом летнем пальто<sup>6</sup>; те там продолжают копать, а он свободен. Он пропускал трамвай за трамваем, прислонясь спиной к красной ограде, и не уходил. Караульный у ворот несколько раз прошел мимо него и указал ему нужный номер трамвая, но он не двигался с места. И так, страшный момент наступил (страшный, Франц, почему страшный?)<sup>7</sup>, четыре года истекли. Черные железные створы ворот, на которые он поглядывал вот уже целый год с возраставшим отвращением (отвращением, почему отвращением), захлопнулись за ним. Его снова выставили вон. Оставшиеся внутри столярничали, что-то лакировали, сортировали, клеили, кому-то сидеть еще два года, кому-то пять лет. А он стоял у остановки трамвая.

Наказание начинается<sup>8</sup>.

Он передернул плечами, проглотил слюну. Наступил себе на ногу. А затем собрался с духом и очутился в трамвае. Среди людей, ну давай! Вначале было такое ощущение, будто сидишь у зубного врача, который ухватил щипцами корень и тащит, боль растет, голова готова лопнуть. Он повернул голову назад, в сторону красной ограды, но трамвай понесся с ним по рельсам, и только голова его осталась еще повернутой по направлению к тюрьме. Вагон миновал плавный поворот, — деревья и дома заслонили тюрьму. Показались оживленные улицы, Зеештрассе<sup>9</sup>, люди входили и выходили. В нем что-то в ужасе кричало: берегись, берегись, начинается. Нос у него окоченел, щеки пылали. «Цвельф-ур-миттагсцайтунг»<sup>10</sup>, «Бе Цет»<sup>11</sup>,

последний номер «Иллюстрирте»<sup>12</sup>, «Функштунде»<sup>13</sup>, — «Кто еще без билета?». Вот как, шупо<sup>14</sup> теперь в синих мундирах. Никем не замеченный, он вышел из трамвая, смешался с толпой. В чем дело? Ничего. Держись, изголодавшаяся свинья, не распускайся, не то дам понюхать моего кулака. Что за толчея, что за давка! Как все это движется! Мои мозги, вероятно, совсем высохли. Чего тут только нет: магазины обуви, магазины шляп, электролампочки, кабаки. Ну да, нужна же людям обувь, раз им приходится столько бегать, у нас ведь тоже была сапожная мастерская, не надо забывать. Сотни блестящих оконных стекол. Ну и пускай себе сверкают, нечего их бояться, ведь любое можно разбить, просто они чисто вымыты. На Розенталерплац<sup>15</sup> мостовая была разворочена, он шел вместе с другими по деревянному настилу. Стоит только смешаться с остальными, и все хорошо, и ничего не замечаешь, дружище. В витринах красовались манекены, в костюмах, в пальто, в юбках, в чулках, в башмаках. На улице все пребывало в движении, но за этим — не было ничего! Не было — жизни! У людей веселые лица, люди смеялись, ждали по двое или по трое у трамвайной остановки напротив ресторана Ашингера<sup>16</sup>, курили папиросы, перелистывали газеты. И все это стояло на месте, как фонарные столбы, и цепенело все больше и больше. Все это вместе с домами составляло одно целое, все — белое, все — деревянное.

Его охватил испуг, когда он шел по Розенталерштрассе<sup>17</sup>; в кабачке у самого окна сидели мужчина и женщина: они лили себе в глотку пиво из литровых кружек, ну и что ж, пусть себе пьют, пьют — только и всего, у них в руках были вилки; они втыкали ими куски мяса себе в рот<sup>18</sup>, и — хоть бы капелька крови. Судорогой свело его тело, ох, я не выдержу, куда деться? И что-то отвечало: это — наказание!

Вернуться он не мог, так далеко он заехал на трамвае, его ведь выпустили из тюрьмы, он должен был идти сюда, все дальше и дальше.

Это я знаю, вздохнул он про себя, что мне надо идти сюда и что меня выпустили из тюрьмы. Меня ведь не могли не выпустить, потому что наступил срок; все идет своим чередом,

и чиновник выполняет свой долг. Ну я и иду, но мне не хочется, ах, боже мой, как мне не хочется.

Он прошел по Розенталерштрассе мимо универсального магазина Тица<sup>19</sup> и свернул направо, в узкую Софиенштрассе<sup>20</sup>. Подумал, что эта улица темнее, а где темнее, там лучше. Арестантов содержат в изоляторе<sup>21</sup>, в одиночном заключении и в общих камерах. В изоляторе арестант содержится круглые сутки, непрерывно, отдельно от других заключенных. При одиночном заключении арестант помещается в одиночной камере, но во время прогулки, учебных занятий и богослужения имеет общение с другими. Вагоны трамвая продолжали грохотать и звонить, и один фасад дома тотчас же сменялся другим. А на домах были крыши, которые как будто парили над ними, глаза Франца блуждали поверху: только бы крыши не соскользнули<sup>22</sup>, но дома стояли прямо. Куда мне, горемычному, идти; он плелся вдоль сплошной стены домов, она казалась бесконечной. Вот я дуралей, отсюда же можно выбраться, еще пять минут, десять минут, а потом выпить рюмку коньяку и посидеть. После звонка заключенные немедленно приступают к работе. Прерывать ее разрешается только для приема пищи, прогулки и учебных занятий в назначенное время. На прогулке заключенные должны держать руки вытянутыми и размахивать ими вперед и назад.

Вот дом, Франц оторвал взор от мостовой и толкнул входную дверь; из груди его вырвалось печальное ворчливое ох-хо-хо. Он засунул руки в рукава, так, братец, так, здесь не замерзнешь. Раскрылась дверь со двора, и кто-то прошел мимо, волоча ноги, а затем остановился за ним. Франц закричал, ему нравилось кричать. Первое время в одиночке он всегда так кричал и радовался, что слышит свой голос, значит есть еще что-то, значит не все еще кончено. Так поступали многие из сидевших в изоляторе, кто — в начале заключения, кто — потом, когда чувствовали себя одинокими. Вот они и покрякивали, это было как-никак что-то человеческое и утешало их. Итак, наш герой стоял в вестибюле чужого дома и не слышал ужасного шума улицы, и не было перед ним обезумевших домов. Выпятив губы и стиснув кулаки, он хрюкал и подбадривал себя. Его

плечи в желтом летнем пальто были приподняты, как бы для защиты.

Незнакомец остановился рядом с бывшим арестантом и стал его разглядывать. «С вами что-то случилось? Вам нездоровится? У вас что-нибудь болит?». Тот, заметив его, сразу же перестал кричать. «Или вас мутит? Вы живете в этом доме?» Это был еврей с большой рыжей бородой<sup>23</sup>, низенького роста, в черной велюровой шляпе, с палкой в руке. «Нет, я здесь не живу». Пришлось уйти, а ведь в вестибюле было недурно. И опять потянулась улица, замелькали фасады домов, витрины, спешащие человеческие фигуры в брюках или светлых чулках, да такие все быстрые, юркие, ежесекундно новые, другие. А так как наш Франц на что-то решился, он зашел в проезд одного дома, где, однако, как раз стали отпирать ворота, чтоб пропустить автомобиль. Ну, тогда скорее в соседний дом, в тесный вестибюль рядом с лестницей. Здесь-то уж никакой автомобиль не помещает. Он крепко ухватился за столбик перил. И, держась за него, знал, что намерен уклониться от наказания (ах, Франц, что ты хочешь сделать? ведь ты же не сможешь!) и непременно это сделает, теперь он знает, где искать спасения. И тихонько снова завел свою музыку, свое хрюканье и урчанье, и не пойду я больше на улицу. А рыжий еврей тоже зашел в дом, но сначала было не заметил человека возле перил. Потом услышал его жужжание. «Ну что вы тут делаете? Вам нехорошо?» Тогда Франц пошел прочь, во двор. А когда взялся за ручку двери, то увидел, что это опять еврей из того дома. «Отстаньте вы от меня! Что вам нужно?» — «Ну-ну, ничего. Вы так кричите и стонете, ну-ужели нельзя спросить, что с вами?» А вон там, на улице, уж опять маячат дома, снующая взад и вперед толпа, сползающие крыши. Франц распахнул дверь во двор. Еврей — за ним: «Ну-ну, в чем дело? Не так уж все плохо. Ничего, не пропадете. Берлин огромен. Где тысячи живут, проживет и еще один».

Двор темный и окружен высокими стенами. Франц остановился возле мусорной ямы. И вдруг во всю глотку запел, прямо в стену. Снял шляпу, как шарманщик. Звуки отражались от стен. Это было хорошо. Его голос звенел у него в ушах. Он пел



таким громким голосом, каким ему ни за что не позволили бы петь в тюрьме. А что он пел так, что стены гудели? «Несется клич, как грома гул»<sup>24</sup>. По-военному четко, ритмично. А затем припев: «Ювиваллераллера»<sup>25</sup>, из другой песни. Никто не обращал на него внимания. У выхода его подцепил еврей: «Вы хорошо пели. Вы в самом деле очень хорошо пели. С таким голосом, как у вас, вы могли бы зарабатывать большие деньги». Еврей пошел за ним по улице, взял под руку и, без умолку болтая, потащил вперед, пока они не свернули на Горманнштрассе<sup>26</sup>, еврей и ширококостый, рослый парень в летнем пальто и со стиснутыми губами, словно его вот-вот вырвет желчью.

### Он все еще не пришел в себя

Еврей привел его в комнату, где топилась железная печка, усадил на диван: «Ну, вот мы и пришли. Присаживайтесь. Шляпу можете оставить на голове или снять, как вам угодно. А я сейчас кого-то позову, кто вам понравится. Дело в том, что сам я здесь не живу. Я здесь только гость, как и вы. Ну и как это бывает, один гость приводит другого, если только комната теплая».

Тот, кого недавно выпустили на свободу, остался сидеть один. Несется клич, как грома гул, как звон мечей и волн прибой. Да, ведь он ехал на трамвае, глядел в окно, и красные стены тюрьмы были видны за деревьями, осыпался желтый лист. Стены все еще мелькали у него перед глазами, он разглядывал их, сидя на диване, разглядывал не отрываясь. Большое счастье — жить в этих стенах, по крайней мере знаешь, как день начинается и как проходит. (Франц, не собираешься же ты прятаться, ведь ты уже четыре года прятался, приободрился, погляди вокруг себя, когда-нибудь должна же эта игра в прятки кончиться!) Петь, свистеть и шуметь запрещается. Заключение должны по сигналу к подъему немедленно встать, убрать койки, умыться, причесаться, вычистить платье и одеться. Мыло должно отпускаться в достаточном количестве. Бум — колокол — вставать, в пять тридцать, бум — в шесть отпирают камеру,

бум, бум — становись на поверку, получай утреннюю порцию, работа, перерыв; бум, бум, бум — обед, эй ты, не строй рожи, у нас не на убой кормят, кто умеет петь, выходи вперед, явиться на спевку в пять сорок, я, дозвольте доложить, не могу петь — охрип, в шесть камеры запираются, спокойной ночи, день прошел. Да, большое счастье жить в этих стенах, мне-то здорово припаяли, почти как за предумышленное убийство, а ведь было только убийство неумышленное, телесное повреждение со смертельным исходом, вовсе не так ужасно, а все-таки я стал большим подлецом, негодяем, чуть-чуть не хватило до законченного мерзавца.

Старый, высокого роста, длинноволосый еврей, черная ермолка на затылке, давно уже сидел напротив него. В городе Сузе жил некогда муж по имени Мардохей, и воспитал он у себя в доме Эсфирь, дочь своего дяди, и была эта девушка прекрасна лицом и станом<sup>27</sup>. Старик-еврей отвел глаза от Франца и повернул голову в сторону рыжего: «Откуда вы его выкопали?» — «Да он бегал из дома в дом. А на одном дворе остановился и стал петь». — «Петь?» — «Да, солдатские песни». — «Он, верно, озяб». — «Пожалуй». Старик принялся его разглядывать. В первый день Пасхи лишь неверные могут хоронить покойника, на второй день могут хоронить и сыны Израиля, то же верно и для первых двух дней Нового года<sup>28</sup>. А кто автор следующих слов учения Раббанан<sup>29</sup>: кто вкусит от павшей птицы чистой, тот не осквернится, но кто вкусит от ее кишок или зоба, тот осквернится?<sup>30</sup> Длинной желтой рукой он дотронулся до руки Франца, лежавшей поверх пальто. «Послушайте, не хотите ли снять пальто? Ведь здесь жарко. Мы люди старые, зябнем круглый год, а для вас тут слишком жарко».

Франц сидел на диване и искоса поглядывал на свою руку; он ходил по улицам из двора во двор, надо же было посмотреть, что делается на свете. И ему захотелось встать и уйти, глаза его искали дверь в темной комнате. Тогда старик силой усадил его обратно на диван. «Да оставайтесь же. Куда вам, собственно, спешить?» Но ему хотелось прочь. А старик держал его за кисть руки и сжимал ее, сжимал: «Посмотрим, однако, кто сильнее, вы или я. Оставайтесь, раз я вам говорю, — и, переходя на

крик, — а вы все-таки останетесь. И выслушаете, что я скажу, молодой человек. Ну-ка, держитесь, непоседа». Затем обратился к рыжему, который схватил Франца за плечи: «А вы, вы не вмешивайтесь. Разве я вас просил? Я с ним и один справлюсь».

Что этим людям нужно от него? Он хотел уйти, он пытался подняться, но старик вдавил его в диван. Тогда он крикнул: «Что вы со мной делаете?» — «Ругайтесь, ругайтесь, потом будете еще больше ругаться». — «Пустите меня. Я хочу прочь отсюда». — «Что, опять на улицу, опять по дворам?»

Тут старик встал со стула, шумно прошелся взад-вперед по комнате и сказал: «Пускай кричит, сколько ему угодно. Пускай делает что хочет. Но только не у меня. Открой ему дверь». — «В чем дело? Как будто у вас никогда не бывает крика?» — «Не приводите в мой дом людей, которые шумят. У дочери дети больны, лежат вон там в комнате, так у меня шума довольно». — «Ну-ну, вот горе-то, а я и не знал, вы меня уж простите». Рыжий взял Франца под руку: «Идем. У ребе<sup>31</sup> забот полон рот. Внуки у него заболели. Идем дальше». Но теперь тот раздумал вставать. «Да идемте же». Францу пришлось встать. «Не тащите меня, — сказал он шепотом. — Оставьте меня здесь». — «Но вы же слышали, что у него в доме больные». — «Позвольте мне еще чуточку остаться».

Со сверкающими глазами глядел старик на незнакомого человека, который так просил. Говорил Иеремия: Исцелим Вавилон, но тот не дал себя исцелить. Покиньте его, и каждый из нас отправится в свою страну. И меч да падет на халдеев, на жителей Вавилона<sup>32</sup>. «Что ж, если он будет вести себя тихо, пускай остается вместе с вами. Но если будет шуметь, то пусть уходит». — «Хорошо, хорошо, мы не будем шуметь. Я посижу с ним, вы можете на меня положиться». Старик молча удалился.

### Поучение на примере Цанновича<sup>33</sup>

Итак, только что выпущенный из тюрьмы человек в желтом летнем пальто снова сидел на диване. Вздыхая и в недоумении покачивая головой, рыжий ходил взад и вперед по комнате:

«Ну, не сердитесь, что старик погорячился. Вы, верно, приезжий?» — «Да, я... был...» Красные стены тюрьмы, красивые, крепкие стены, камеры, — о, как приходится тосковать по вам! Вот он прилип спиной к красной ограде, умный человек ее строил, он не уходил. И вдруг он соскользнул, точно кукла, с дивана на ковер, сдвинув при падении стол. «В чем дело?» — крикнул рыжий. Франц извивался на ковре, шляпа покатила из рук, головой он бился о пол и стонал: «В землю уйти бы, туда, где темнее, уйти...» Рыжий дергал его во все стороны: «Ради бога! Вы же у чужих людей. Того и гляди придет старик. Да встаньте же». Но тот не давал себя поднять, цеплялся за ковер и продолжал стонать. «Да успокойтесь, ради бога. Услышит старик, тогда... Мы с вами уж как-нибудь столкнемся». — «Меня отсюда никто не заставит уйти...» И — как крот.

А рыжий, убедившись, что не может его поднять, покрутил пейсы, запер дверь и решительно уселся рядом с этим человеком на пол. Обхватив руками колени и поглядывая на торчавшие перед ним ножки стола, сказал: «Ну ладно. Оставайтесь себе тут. Давайте-ка и я подсяду. Хоть оно и неудобно, но почему бы и не посидеть? Не хотите сказать, что с вами, так я сам вам что-нибудь расскажу». Выпущенный из тюрьмы человек кряхтел, припав головой к коврику. (Но почему же он стонет и кряхтит? Да потому, что надо решиться, надо избрать тот или иной путь, а ты никакого не знаешь, Франц. Вернуться к старому тебе бы не хотелось, в тюремной камере ты тоже только стонал и прятался и не думал, не думал, Франц.) Рыжий сердито продолжал: «Не надо так много воображать о себе. Надо слушать других. С чего вы взяли, что вам так уж плохо? Господь ведь никого из Своих рук не отпускает. Есть ведь еще и другие люди. Разве вы не читали, что взял Ной в свой ковчег, когда случился Всемирный потоп? От каждой твари по паре<sup>34</sup>. Бог никого не забыл. Даже головных вшей — и тех не забыл. Все Ему были одинаково любы и дороги». А тот только жалобно пищал. (Что ж, за писк денег не берут. Пищать может и большая мышь.)

Рыжий дал ему напищаться вволю и почесал себе щеки. «Много чего есть на свете, и много о чем можно порассказать,

когда бываешь молод и когда состаришься. Ну так вот, я вам расскажу про Цанновича<sup>35</sup>, Стефана Цанновича. Вы эту историю, наверно, еще не слышали. А когда вам полетчает, то сядьте чуточку прямее. Ведь так у вас кровь приливает к голове, а это вредно. Мой покойный отец нам много чего рассказывал; он немало постранствовал по белу свету, как вообще наши соплеменники, дожил до семидесяти лет, пережил покойницу-мать и знал массу вещей и был умным человеком. Нас было семь голодных ртов, и, когда нечего было есть, он рассказывал нам разные истории». Ими сыт не будешь, но об этом забываешь. Глухой стон на полу не затихал. (Что ж, стонать может и большой верблюд.) «Ну-ну, мы знаем, что на свете не только все золото, красота и радости. Итак, кем же был этот Цаннович, кем был его отец, кем были его родители? Нищими, как большинство из нас, торгашами, мелкими лавочниками, комиссионерами. Старик Цаннович был родом из Албании и переселился в Венецию. Уж он знал, чего ради переселился в Венецию! Одни переселяются из города в деревню, другие — из деревни в город. В деревне спокойнее, люди ощупывают каждую вещь со всех сторон, и вы можете уговаривать их целыми часами, а если повезет, то заработаете пару пфеннигов. В городе, конечно, тоже трудно, но люди идут гуще, и ни у кого нет времени. Не один, так другой. Ездят они не на волах, а в колясках, на резвых лошадках. Тут проигрываешь и выигрываешь. Это старик Цаннович прекрасно понял. Сперва он продал все, что имел, а потом взялся за карты и стал играть. Человек он был не очень честный. Пользовался тем, что у людей в городе нет времени и что они хотят, чтоб их занимали. Ну он их и занимал. Это стоило им немало денег. Плутлом, шулером был старик Цаннович, но голова у него была — ой-ой! С крестьянами-то ему это не особенно удавалось, но здесь дела его шли недурно. Даже, можно сказать, дела у него шли отлично. Пока вдруг кому-то не показалось, что его обирают. Ну а старик Цаннович об этом как раз и не подумал. Произошла свалка, позвали полицию, и в конце концов старику Цанновичу пришлось со своими детьми удирать во все лопатки. Венецианские власти хотели было преследовать его судом, но какие, думал старик, могут

быть разговоры с судом, ведь все равно суд никогда его не поймет! Так его и не смогли разыскать, а у него были лошади и деньги, и он вновь обосновался в Албании, купил себе там имение, целую деревню, дал детям хорошее образование. И когда совсем состарился, то мирно скончался, окруженный общим почетом. Такова была жизнь старика Цанновича. Крестьяне оплакивали его, но он терпеть их не мог, потому что все вспоминал то время, когда стоял перед ними со своими безделушками, колечками, браслетами, коралловыми ожерельями, а они перебирали и вертели в руках все эти вещи и в конце концов уходили, ничего не купив.

И знаете, когда отец — былинка, он хочет, чтоб его сын был большим деревом. А когда отец — камень, то чтоб сын был горой. Вот старик Цаннович своим сыновьям и сказал: «Пока я торговал здесь, в Албании, двадцать лет, я был ничто. А почему? Потому что я не нес свою голову туда, где ей настоящее место. Я пошлю вас в высшую школу, в Падую, — возьмите себе лошадей и повозку, а когда кончите ученье, вспомните меня, который болел душою за вас вместе с вашей матерью и ночевал с вами в лесу, словно дикий вепрь: я сам был виноват в этом. Крестьяне меня иссушили, точно неурожайный год, и я погиб бы, если б не ушел к людям, и там я не погиб».

Рыжий посмеивался про себя, потряхивал головой, рассказывался всем туловищем. Они сидели на полу на ковре. «Если бы теперь кто-нибудь зашел сюда, то принял бы нас обоих за сумасшедших, тут есть диван, а мы уселись перед ним на полу. Ну да впрочем — что кому нравится, почему бы и нет, если человеку хочется? Так вот, молодой Цаннович, Стефан, еще юношей лет двадцати был большим краснобаем. Он умел повернуться и так и сяк, умел понравиться, умел быть ласковым с женщинами и задавать тон с мужчинами. В Падуе дворяне учились у профессоров, а Стефан учился у дворян. И все относились к нему хорошо. А когда он приехал на побывку домой в Албанию — отец тогда еще был жив, — тот тоже очень любил его, гордился им и говорил: „Вот, смотрите на него, это — человек, который нужен миру. Он не станет двадцать лет торговать с крестьянами, он опередил своего отца на двадцать лет“.

А юноша, поглаживая свои шелковые рукава, откинул назад голову мягкие кудри и поцеловал старого счастливого отца со словами: „Да ведь это же вы, отец, избавили меня от двадцати плохих лет“. — „Да будут они лучшими в твоей жизни!“ — молвил отец, лаская и милуя свое детище.

И в самом деле, у молодого Цанновича все пошло, словно в волшебной сказке, но только это была не сказка. Люди к нему так и льнули. Ко всем сердцам он находил ключ. Однажды он совершил поездку в Черногорию, как настоящий кавалер, — были у него и кареты, и кони, и слуги. У отца сердце радовалось на сына при виде такого великолепия (что ж, отец — былинка, а сын — большое дерево!), а в Черногории его приняли за графа или князя, ему даже не поверили бы, если б он сказал: моего отца зовут Цаннович, а живем мы в деревне Пастровице<sup>36</sup>, чем мой отец немало гордится! Ему просто-напросто не поверили бы, настолько он умел держаться как дворянин из Падуи, да и похож он был на дворянина и знал их всех. Тогда Стефан, смеясь, сказал: пусть будет по-вашему! И стал выдавать себя перед людьми за богатого поляка, за которого они и сами его принимали, за некоего барона Варту<sup>37</sup>. Ну и те были довольны, и он был доволен».

Человек, только что вышедший из тюрьмы, вдруг резким движением приподнялся и сел. Он сидел на корточках и сверху вниз испытующе глядел на рассказчика. А затем холодно уронил: «Обезьяна!» — «Обезьяна так обезьяна, — пренебрежительно отозвался рыжий. — Тогда, значит, обезьяна знает больше, чем иной человек». Какая-то сила снова повергла его собеседника на пол. (Ты должен раскаяться; осознать, что случилось; осознать, что тебе надо сделать!)

«Итак, я могу продолжать. Можно еще многому научиться у других людей. Молодой Цаннович вступил на этот путь, и так оно и пошло дальше. Я-то его уже не застал, да и мой отец его не застал, но представить его себе вовсе не трудно. Если я, например, спрошу вас, хотя вы только что обозвали меня обезьяной, — между прочим, не следует презирать ни одно животное на свете, потому что они оказывают нам много благодетельств; вспомните хотя бы лошадь, собаку, певчих птиц, ну а обезьян

я знаю только по ярмарке: им приходится, сидя на цепи, потешать публику, а это тяжелая участь, и ни у одного человека нет такой тяжелой участи...<sup>38</sup> так вот я вас (не могу назвать вас по имени, потому что вы мне его не сообщили), я вас и спрашиваю: благодаря чему Цанновичи — как старик, так и молодой — сделали такую карьеру? Вы думаете, что у них мозг был иначе устроен, что они были большие умницы? Так умницами бывали и другие, да все-таки восьмидесяти лет не достигали того, что Стефан — двадцати. Нет, главное в человеке — это глаза и ноги! Надо уметь видеть людей и подходить к ним.

А вот послушайте, что сделал Стефан Цаннович, который умел видеть людей и знал, что их нечего бояться. Обратите внимание, как они идут нам навстречу, как они чуть ли не сами выводят слепого на дорогу. Что они хотели от Стефана? Ты — барон Варта. — Хорошо, сказал он, пусть я буду барон Варта. Потом ему, или же им, стало и этого мало. Если уж он барон, так почему бы и не еще повыше? В Албании был один человек, знаменитый, который уж давно умер, но которого там почитают, как вообще народ почитает своих героев, и звали того человека Скандербег<sup>39</sup>. Если бы Цаннович только мог, он бы сказал, что он и есть тот самый Скандербег. Но так как Скандербег давно умер, то он сказал, что он — потомок Скандербега, принял важный вид, назвал себя принцем Кастриотом Албанским и заявил, что снова сделает Албанию великой и что его приверженцы только ждут знака. Ему дали денег, чтобы он мог жить, как подобает потомку Скандербега. Он доставил людям истинное удовольствие. Ведь ходят же они в театр и слушают всякие выдуманные вещи, которые им приятны. И платят за это. Так почему бы им не платить, когда такого рода приятные вещи случаются с ними днем или утром, тем более когда люди сами могут принять участие в игре?»

И снова человек в желтом летнем пальто приподнялся с пола. Лицо у него было печальное, сморщенное, он поглядел сверху вниз на рыжего, кашлянул и изменившимся голосом сказал:

«Скажите-ка, человек божий, вы не с луны свалились, а? Вы, верно, с ума спятили?» — «С луны свалился? Что ж, пожалуй. То я — обезьяна, то — с ума спятил». — «Нет, вы мне скажи-



те, чего вы, собственно, тут сидите и городите такую чушь?» — «А кто сидит на полу и не желает вставать? Я, что ли? А между тем рядом диван. Ну ладно! Если вам не нравится, я больше не буду рассказывать».

Тогда тот человек, оглянувшись кругом, вытянул ноги и прислонился спиной к дивану, а руками уперся в ковер. «Что, так будет удобнее?» — «Да. И вы можете, пожалуй, прекратить теперь вашу болтовню». — «Как вам угодно. Я эту историю уже часто рассказывал, так что я ничего не потеряю. А вы — как хотите». Но после небольшой паузы тот снова обернулся к рассказчику и попросил: «Так и быть, доскажите вашу историю до конца». — «Ну вот видите. Когда что-нибудь рассказывают или разговариваешь, время проходит как-то быстрее. Ведь я хотел только открыть вам глаза. Итак, Стефан Цаннович, о котором сейчас была речь, получил столько денег, что мог поехать с ними в Германию. В Черногории его так и не раскусили. И поучиться следует у Цанновича Стефана тому, как он знал себя и людей. Тут он был невинен, как щибетуныя-птичка. И обратите внимание, он совершенно не боялся людей; самые великие, самые могущественные, самые грозные были его друзьями: курфюрст саксонский<sup>40</sup>, а также кронпринц прусский, который впоследствии прославился как великий полководец<sup>41</sup> и перед которым эта австриячка, императрица Терезия<sup>42</sup>, трепетала на своем троне. Но даже и перед ним Цаннович не трепетал. А когда Стефану случилось побывать в Вене и столкнуться там с людьми, которые подкапывались под него, сама императрица вступилась за него и сказала: Не обижайте этого юношу!»

Неожиданный финал этого рассказа,  
который восстановил душевное равновесие  
человека, выпущенного из тюрьмы

Слушатель расхохотался, заржал у дивана: «Ну и номер! Вы могли бы выступать клоуном в цирке». Рыжий смеялся за компанию: «Вот видите? Только, пожалуйста, потише, не забывайте

о больных внуках старика. А что, не сесть ли нам все-таки на диван? Что вы на это скажете?» Тот рассмеялся, забрался на диван и сел в уголок; рыжий занял другой угол: «Так-то будет помягче, и пальто не помнется». Человек в летнем пальто в упор глядел из своего угла на рыжего. «Такого чудака я давно уж не встречал», — сказал он. «Вы, может быть, просто не обращали внимания, — равнодушно отозвался рыжий, — потому что их еще довольно много на свете. А вот вы запачкали себе пальто, тут ведь никто не вытирает ног». У человека из тюрьмы, ему было лет 30 с небольшим, повеселели глаза, да и лицо стало как будто свежее. «Скажите, — спросил он рыжего, — чем вы, собственно говоря, торгуете? Вы, вероятно, живете на луне?» — «Пусть будет так. Что ж, давайте говорить о луне».

Тем временем в дверях уже минут пять стоял какой-то мужчина с каштановой курчавой бородой. Теперь он подошел к столу и сел на стул. Это был молодой еще человек, в такой же велюровой шляпе, как у рыжего. Он описал рукою круг в воздухе и пронзительным голосом крикнул: «Это кто такой? Что у тебя с ним за дела?» — «А ты что тут делаешь? Я его не знаю, он не назвал своего имени». — «И ты рассказывал ему всякие небылицы?» — «А хоть бы и так? Тебе-то что за печаль?» — «Значит, он рассказывал вам небылицы?» — обратился шатен к человеку из тюрьмы. «Да он не говорит. Он только бродит по улицам и поет по дворам». — «Ну и пусть себе бродит! Что ты его держишь?» — «Не твое дело, что я делаю!» — «Да я же слышал в дверях, что у вас тут было. Ты ему рассказывал про Цанновича. Другого ты ничего и не умеешь, как только рассказывать да рассказывать». Тогда незнакомец из тюрьмы, который все время не сводил глаз с шатена, ворчливо спросил: «Кто вы, собственно, такой? Откуда вас принесло? Чего вы вмешиваетесь в его дела?» — «Рассказывал он вам про Цанновича или нет? Рассказывал. Мой шурин Нахум все ходит да ходит да рассказывает всякие сказки и только самому себе никак не может помочь». — «Я тебя вовсе не просил мне помочь. Но разве ты не видишь, что ему нехорошо, скверный ты человек». — «А если даже ему и нехорошо, то что ты за посланец Божий выискался? Как же, Бог только того и ждал, чтобы ты явился! Одному б

Ему ни за что не справиться». — «Нехороший ты человек». — «Советую вам держаться от него подальше, слышите? Наверно, он вам тут наплел, как повезло в жизни Цанновичу и невесте еще кому». — «Уберешься ли ты, наконец?» — «Нет, вы послушайте, что за мошенник этот благодетель-то! И он еще разговаривает! Да разве это его квартира? Ну, что ты опять такое наболтал о Цанновиче и о том, чему у него можно поучиться. Эх, следовало бы тебе сделаться раввином. Мы б тебя уж как-нибудь прокормили». — «Не надо мне вашей благотворительности!» — «А нам не надо паразитов, которые висят на чужой шее! Рассказал ли он вам, что случилось в конце концов с Цанновичем?» — «Дрянь, скверный ты человек!» — «Рассказал, а?» Человек из тюрьмы устало поморгал глазами, взглянул на рыжего, который, грозя кулаком, направился к двери, и буркнул ему вслед: «Постойте, постойте, не уходите. Чего вам волноваться? Пускай себе болтает».

Тогда шатен горячо заговорил, обращаясь то к незнакомцу, то к рыжему, взволнованно жестикулируя, ерзая на стуле, прищелкивая языком, подергивая головой и поминутно меняя выражение лица: «Он людей только сбивает с толку. Пусть-ка он доскажет, чем кончилось дело с Цанновичем Стефаном. Так нет, этого он не рассказывает, а почему не рассказывает, почему, я вас спрашиваю?» — «Потому что ты нехороший человек, Элизер!» — «Получше тебя. А вот почему (шатен с отвращением воздел руки и страшно выпучил глаза): Цанновича выгнали из Флоренции, как вора. Почему? Потому что его разоблачили!» Рыжий угрожающе встал перед ним, но шатен только отмахнулся. «Теперь говорю я, — продолжал он. — Оказалось, он писал письма разным владетельным князьям, что ж, такой князь получает много писем, а по почерку не видать, что за человек писал. Ну, нашего Стефана и раздуло тщеславием, назвался он принцем Албанским, поехал в Брюссель и занялся высокой политикой. Это, видно, Стефана попутал его злой ангел. Явился он там высшим властям — нет, вы себе представьте Цанновича Стефана, этого мальчишку, — и предлагает для войны, не помню с кем, не то сто, не то двести тысяч — это не важно — вооруженных

людей. Ему пишут бумагу за правительственной печатью: покорнейше благодарим, в сомнительные сделки не пускаемся. И опять злой ангел попутал нашего Стефана: возьми, говорит, эту бумагу и попробуй получить под нее деньги! А была она прислана ему от министра с таким адресом: Его высокоблагородию сиятельному принцу Албанскому. Дали ему под эту бумажку денег, а потом-то оно и вышло наружу, какой он аферист. А сколько лет ему было в то время? Тридцать, больше ему и не пришлось пожить в наказание за свои проделки. Вернуть деньги он не мог, на него подали в суд в Брюсселе, тут все и обнаружилось. Вот каков был твой герой, Нахум. А ты рассказал про его печальный конец в тюрьме, где он сам вскрыл себе вены? А когда он был уже мертв, — хорошенькая жизнь, хорошенький конец, нечего сказать! — пришел палач, живодер с тележкой для дохлых собак, кошек и лошадей, взвалил на нее Стефана Цанновича, вывез за город, туда, где стоят виселицы, бросил, как падаль, и засыпал мусором».

Человек в летнем пальто даже рот разинул: «Это правда?» (Что ж, стонать может и больная мышь.) Рыжий считал каждое слово, которое выкрикивал его зять. Подняв указательный палец перед самым лицом шатена, он как будто ждал определенной реплики, теперь он ткнул его пальцем в грудь, сплюнул перед ним на пол — тьфу, тьфу! «На тебе! Вот ты что за человек! И это — мой зять!» Шатен неровной походкой отошел к окну, бросив рыжему: «Так! А теперь говори ты и скажи, что это не правда».

Стен больше не было. Осталась только освещенная висячей лампой маленькая комната, и по ней бегали два еврея, шатен и рыжий, в черных велюровых шляпах, и ссорились между собою. Человек из тюрьмы обратился к своему другу, к рыжему: «Послушайте-ка, это правда, что тот рассказывал про того человека, что он засыпался и что потом его убили?» — «Убили? Разве я говорил „убили“? — крикнул шатен. — Он сам покончил с собой». — «Ну, пусть он сам покончил с собой», — согласился рыжий. «А что же сделали те, другие?» — поинтересовался человек из тюрьмы. «Кто это те?» — «Ну, были ведь там еще и другие, кроме самого Стефана? Не все же были министрами,

да живодерами, да банкирами?» Рыжий и шатен переглянулись. Рыжий сказал: «А что им было делать? Они смотрели».

Человек в желтом летнем пальто, недавно выпущенный из тюрьмы, этот здоровенный детина, встал с дивана, поднял шляпу, смахнул с нее пыль и положил на стол, все так же не говоря ни слова, распахнул пальто, расстегнул жилетку и только тогда сказал: «Вот, извольте взглянуть на мои брюки. Вот я какой был толстый, а теперь они, видите, как отстают — целых два кулака пролезают, все от голодухи этой проклятой. Все ушло. Все брюхо к черту. Вот так тебя и мурыжат за то, что не всегда бываешь таким, каким бы следовало. Но только я не думаю, чтоб другие были намного лучше. Нет, не думаю. Только голову человеку морочат».

«Ну что, видишь?» — шепнул рыжему шатен. «Что видеть-то?» — «Да то, что это каторжник». — «А хоть бы и так?» — «Потом тебе говорят: ты свободен, можешь идти обратно в грязь, — продолжал человек, выпущенный из тюрьмы, застегивая жилетку. — А грязь-то все та же, что и раньше. И смеяться тут нечему. Это видно и на том, что сделали те, другие. Приезжает за мертвым телом в тюрьму какая-то сволочь, какой-то, будь он проклят, мерзавец с собачьей тележкой, бросает на нее труп человека, который сам покончил с собой, и — дело с концом; и как это его, подлеца, не растерзали на месте за то, что он так согрешил перед человеком, кем бы тот ни был?» — «Ну что вам на это сказать?» — сокрушенно промолвил рыжий. «Что ж, разве мы больше уж и не люди, если мы совершили что-нибудь такое? Все могут опять встать на ноги, все, которые сидели в тюрьме, что бы они ни наделали». (О чем жалеть-то? Надо развязать себе руки! Рубить с плеча! Тогда все останется позади, тогда все пройдет — и страх и все такое!) «Мне только хотелось доказать, что вам не следует прислушиваться ко всему, что рассказывает мой шурин. Иной раз не все можно, что хочется, а надо устроиться как-то по-другому». — «Какая ж это справедливость — бросить человека на свалку, как собаку, да еще засыпать мусором, разве это справедливо по отношению к покойнику? Тыфу ты, черт! Ну а теперь я с вами распрощаюсь. Дайте мне вашу лапу. Вижу, вы желаете мне добра, и вы тоже (он

пожал руку рыжему). Меня зовут Биберкопф, Франц. Очень мило с вашей стороны, что меня приютили. А то я уж совсем был готов свихнуться. Ну да ладно, пройдет». Оба еврея с улыбкой пожали ему руку. Рыжий, сияя, долго тискал его ладонь в своей. «Вот теперь вам в самом деле стало лучше, — повторял он. — Если будет время — заходите. Буду очень рад». — «Благодарю вас, непременно, время-то найдется, вот только денег не найти. И поклонитесь от меня тому старому господину, который был тут с вами. Ну и силища у него в руках, скажите, не был ли он в прежнее время резником? Давайте-ка я еще живенько приведу в порядок ковер, он у вас совсем сбился. Да вы не беспокойтесь, я могу один. А теперь стол, та-ак!» Он ползал на четвереньках, весело посмеиваясь за спиной рыжего: «Вот тут на полу мы с вами сидели и беседовали. Замечательное, простите, место для сидения».

Его проводили до дверей. Рыжий озабоченно спросил: «А вы сможете идти один?» Шатен подтолкнул его в бок: «Что ты его смущаешь?» Человек из тюрьмы выпрямился, тряхнул головой и, разгребая перед собой руками воздух (побольше воздуху, воздуху, больше воздуху — только и всего!), сказал: «Не беспокойтесь. Меня вы теперь можете с легким сердцем отпустить. Вы же рассказали о ногах и глазах. У меня они еще есть. Их у меня никто не отнял. До свиданья, господа».

И пока он шел по тесному, загроможденному двору, оба глядели с лестницы ему вслед. Шляпу он надвинул на глаза и, перешагнув через лужу бензина, пробормотал: «Ух, гадость какая! Рюмку коньяку бы. Кто подвернется, получит в морду. Ну-ка, где здесь можно достать коньяку?»

Настроение бездеятельное,  
к концу дня значительное падение курсов,  
с Гамбургом вяло, Лондон слабее<sup>43</sup>

Шел дождь. Слева, на Мюнцштрассе<sup>44</sup>, сверкали названия кинотеатров. На углу было не пройти, люди толпились у забора, за которым начиналась глубокая выемка, — трамвайные

рельсы как бы повисли в воздухе; медленно, осторожно полз по ним вагон. Ишь ты, строят подземную дорогу<sup>45</sup>, — значит, работу найти в Берлине еще можно. А вон и кино<sup>46</sup>. Детям моложе семнадцати лет вход воспрещен. На огромном плакате был изображен ярко-красный джентльмен на ступеньках лестницы, какая-то гуляющая девица обнимала его ноги; она лежала на лестнице, а он строил презрительную физиономию. Ниже было написано: Без родителей, судьба одной сироты в 6 действиях<sup>47</sup>. Что ж, давай посмотрим эту картину. Оркестрион<sup>48</sup> заливался вовсю. Вход 60 пфеннигов.

К кассирше обращается какой-то субъект: «Фрейлейн, не будет ли скидки для старого ландшафтurmиста<sup>49</sup> без живота?» — «Нет, скидка только для детей до пяти месяцев, если они с соской». — «Заметано. Нам в аккурат столько и выходит. Самые что ни на есть новорожденные — в рассрочку». — «Ну ладно, пятьдесят с вас. Проходите». За ним пробирается юнец, худенький, с шарфом на шее: «Фрейлейн, мне хотелось бы на сеанс, но только чтобы бесплатно». — «Это еще что такое? Позови свою маму, пусть она посадит тебя на горшочек». — «Так как же — можно мне пройти?» — «Куда?» — «В кино». — «Здесь не кино». — «Как так — не кино?» Кассирша, высунувшись в окошечко, стоящему у входной двери швейцару: «Макс, поди-ка сюда. Вот тут желают знать, кино здесь или не кино. Денег у них нет. Объясни-ка им, что здесь такое». — «Вам желательно знать, что здесь такое, молодой человек? Вы это еще не заметили? Здесь касса по выдаче пособий нуждающимся, отделение Мюнцштрассе». И, оттирая юнца от кассы, швейцар показал ему кулак, приговаривая: «Если хочешь, могу сейчас выplatить».

Франц втиснулся в кино вместе с другими. Только что начался антракт. Длинное фойе было битком набито, 90 процентов — мужчины в кепках, которых они не снимают. На потолке — три завешенные красным лампочки. На первом плане — желтый рояль; на нем груды нот. Оркестрион гремит не переставая. Затем становится темно, и начинают показывать картину. Девчонке, которая до сих пор только пасла гусей, хотят дать образование, чего ради — пока что непонятно. Она сморкается в руку, при всех на лестнице чешет себе зад, и зрители смеются.

## Оглавление

[Пролог] .....	5
----------------	---

### КНИГА ПЕРВАЯ

На 41-м номере в город .....	9
Он все еще не пришел в себя .....	13
Поучение на примере Цанновича .....	15
Неожиданный финал этого рассказа, который восстановил душевное равновесие человека, выпущенного из тюрьмы .....	21
Настроение бездеятельное, к концу дня значительное падение курсов, с Гамбургом вяло, Лондон слабее .....	26
Победа по всему фронту! Франц Биберкопф покупает телятину .....	33
А теперь Франц клянется всему миру и себе, что останется порядочным человеком в Берлине, с деньгами или без них .....	39

### КНИГА ВТОРАЯ

Франц Биберкопф отправляется на поиски, надо зарабатывать деньги, без денег человек не может жить. Кое-что о горшечном торге во Франкфурте .....	56
Лина задает ходу гомосексуалистам .....	69
Хазенхейде, «Новый мир», не одно, так другое, и не надо делать себе жизнь тяжелее, чем она есть .....	78
Франц — человек широкого размаха, он знает себе цену .....	89
Вот он какой, наш Франц Биберкопф! Под стать античным героям! .....	100



## КНИГА ТРЕТЬЯ

Вчера еще на гордых конях .....	109
Сегодня навыллет прострелена грудь .....	114
А завтра в сырой могиле, нет, мы сумеем воздержаться .....	119

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Горсточка людей вокруг Алекса .....	127
Биберкопф под наркозом, Франц забился в нору, Франц ни на что не желает глядеть .....	132
Франц бьет отбой, Франц играет обоим евреям прощальный марш .....	135
Ибо с человеком бывает как со скотиною; как эта умирает, так и он умирает .....	141
Беседа с Иовом, дело за тобой, Иов, но ты не хочешь .....	149
И у всех одно дыхание, и у человека нет преимущества перед скотиною .....	152
У Франца открыто окно, ну и забавные же вещи случаются на свете .....	154
Гоп, гоп, гоп, конь снова скачет в галоп .....	165

## КНИГА ПЯТАЯ

Встреча на Алексе, холод собачий, в следующем, 1929 году будет еще холоднее .....	173
Некоторое время — ничего, передышка, дела поправляются .....	181
Бойкая торговля живым товаром .....	188
Франц задумывается над торговлей живым товаром, и вдруг ему это дело больше не нравится, ему хочется чего-нибудь другого .....	196
Местная хроника .....	200
Франц принимает пагубное решение, он не замечает, что садится в крапиву .....	204
Воскресенье, 8 апреля 1928 года .....	211

## КНИГА ШЕСТАЯ

Чужое добро идет впрок .....	231
Ночь с воскресенья на понедельник, понедельник, 9 апреля .....	236
Францу не сделан нокаут, и ему никак не сделают нокаута .....	247

Воспрянь, мой слабый дух. Воспрянь и крепче встань на ноги . . . .	252
Третье завоевание Берлина . . . . .	255
Платье делает человека, а у нового человека и глаза новые . . . . .	258
У нового человека и голова новая . . . . .	263
Новому человеку нужна и новая профессия, а не то можно обойтись и без всякой профессии . . . . .	270
На сцене появляется и женщина, Франц Биберкопф снова укомплектован . . . . .	274
Оборонительная война против буржуазного общества . . . . .	283
Дамский заговор, слово предоставляется нашим милым дамам, сердце Европы не стареет . . . . .	294
С политикой покончено, но это вечное бездельничание гораздо опаснее . . . . .	300
Муха выкарабкивается, песок с нее сыплется, скоро она опять зажужжит . . . . .	307
Побатальонно, в ногу, с барабанным боем — вперед марш! . . . . .	313
Кулак уже занесен . . . . .	321

### КНИГА СЕДЬМАЯ

Пусси Уль, наплыв американцев, как пишется по-немецки «Вильма»: через «ве» или через «фау»? . . .	325
Поединок начинается! Стоит дождливая погода . . . . .	331
Франц, Франц-громила, не лежит больше под автомобилем, а важно сидит в нем, он добился своего . . . . .	337
Горести и утехи любви . . . . .	346
Виды на урожай блестящи, впрочем, иной раз можно и ошибиться . . . . .	354
Среда, 29 августа . . . . .	363
Суббота, 1 сентября . . . . .	370

### КНИГА ВОСЬМАЯ

Франц, ничего не замечает, и все идет своим чередом . . . . .	385
Дело идет к развязке, преступники не поладили между собой . . . .	393
Присматривайте за Карлушкой-жестянщиком, с ним что-то творится . . . . .	395
Дело налаживается, Карлушка-жестянщик засыпается и выкладывает все . . . . .	400

И обратился я вспять, и узрел всю неправду, творимую на земле .....	410
И были это слезы тех, кто терпел неправду, и не было у них утешения .....	415
И восхвалил я тогда мертвых, которые уже умерли .....	417
Крепость осаждена со всех сторон, делаются последние вылазки, но это только для виду .....	422
Завязывается бой. Мы летим к черту в пекло, летим с музыкой ...	428
На Александрплац находится полицейпрезидиум .....	435

### КНИГА ДЕВЯТАЯ

Черные дни для Рейнхольда. Впрочем, эту главу можно и пропустить .....	445
Психиатрическая больница в Бухе, арестантский барак .....	452
Виноградный сахар и впрыскивание камфары, но в конце концов в дело вмешивается кто-то другой .....	457
Смерть поет свою унылую, протяжную песнь .....	463
И вот Франц слушает протяжную песнь Смерти .....	469
Здесь надлежит изобразить, что есть страдание .....	477
Отступление злой блудницы и триумф великого заклателя, барабанщика и громовержца .....	478
Лиха беда начало .....	480
Отчизна, сохрани покой, не влипну я, я не такой .....	482
В ногу — левой, правой, левой .....	487
Примечания. <i>А. Маркин</i> .....	492
Экранизации .....	599
Список сокращений .....	600